Глеб Нагорный

День Города

Новеллы & рассказы

Глеб Нагорный

День Города. Новеллы & рассказы

«Издательские решения»

Нагорный Г.

День Города. Новеллы & рассказы / Г. Нагорный — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-905955-0

«Глеб Нагорный — человек, который превосходно умеет складывать слова во фразы и обладает адекватным чувством стиля».Евгений Ю. Додолев, «Московская правда» & «Новый Взгляд»«Новеллы замечательные! Искра высекает искру!»Сергей Сутулов-Катеринич, главный редактор международного поэтического альманаха «45-я параллель»«Эссе замечательные, тронули. Особенно — „Ладони“».Валерия Шишкина, главный редактор литературно-философского журнала «Топос»

ISBN 978-5-44-905955-0

© Нагорный Г.
© Издательские решения

Содержание

ДЕНЬ ГОРОДА 6
Закуток 6
Феномен любви 8
Пазл 9
Длинные ноги Кафки 10
Муза, стирающая носки 11
Осколок мозаики 12
СЛОН, или биеннале 13
Радикализация искусства 15
Семейные трусы 17
Лунные мухи1 19
Аллегро нон мольто 21
Глиняная пустота 29
Ладони 31
Тараканий бег 32
Мороз без солнца 33
Фуршет 34
Тапочки за рубли 39
Конец ознакомительного фрагмента. 40

День Города
Новеллы & рассказы

Глеб Нагорный

© Глеб Нагорный, 2018

ISBN 978-5-4490-5955-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ДЕНЬ ГОРОДА
Новеллы & рассказы

Закуток

В закутке я уже год. И не могу сказать, что судьба ко мне неблагосклонна – сверху не каплет, перерывы на обед случаются, деньги платят, и ладно. Пусть небольшие. Пусть. Некоторые и этого не имеют. А таких – большинство.

Я научился отличать их, вычленяя из общей массы. Они – в сером. Серое все. Одежда, лица, мысли. И прячут глаза. Будто им стыдно. Спускаться сюда – вниз. Чувствовать себя в подземелье. Иногда даже складывается впечатление, что они не поднимаются наверх. Вообще. Никогда. Спустились, и дело с концом. Все. Баста. Будто и не было.

А на смену им приходят другие. И тоже спускаются. Пряча серые *мох*роватые глаза, кутаясь в серые мохеровые платки, переваривая серые махровые думы.

В Ад.

Только не в тот, сотни раз описанный – нереальный, в кровавых разводах, шкварчащий и стонущий, походящий на сказку-страшилку, которую хочется дослушать, но в которую никогда не поверишь.

Нет. В Ад реальный. Серенький, потненький, спокойный в своем безразличии. Нейтральный.

И они спускаются вниз. Проходя сквозь мой закуток. Сквозь мою слежку.

И в моей власти собрать всех в единый поток: так, чтоб задние дышали в затылок впередиедущим, так, чтоб у каждого возникла мысль о неизбежном – о Хароне, перевозящим души на другую сторону Леты.

Только есть ли у них души? Не остались ли они там – в мечтах? Когда в восемнадцать кажется, что весь мир на ладони, а в восемьдесят понимаешь, что и ногтя-то ты этого мира не видел. И сам ты у него на фалангах. В виде пыли. Серой, грязноватой. Ни на что не надеющейся.

Потому что прожил ты всю жизнь в Кузьминках каких-нибудь. Родился там, в сад ходил, школу полупосещал, пэтэушничал, женился, серостей нарожал…

Помер. Как-то так неожиданно помер.

Вот, казалось, он, мир, на длань тебе плюхнется – Атриумами там всякими, Москва-Сити, дачами фешенебельных районов, Рублевками, Крылатским… А фигу… Сер ты для этого, сер… Через меня путь. Вниз. И даже, когда ты поднимаешься наверх (это тебе так кажется) – опускаешься ты на самом деле с каждой ступенью вниз, поскольку все одно – сползать тебе сюда.

В пропасть. В дыру. Черную. Беспросветную… С железными челюстями.

Сюда. К старухам, смерть плодящим, к детворе обезрученной, к воякам спившимся.

Сюда – ко мне. Где я. Миллионами таких провожаю.

Неудачников. «Покорителей». Мечтателей.

Те – наверху, в отличие от тебя, не мечтают. Они действуют. Вкалывают. Кусками выкусывают, вгрызаясь в такие же, как твое, смердящие тела.

Ибо все мы под Богом ходим. Только одни – расправив плечи, а другие – шаркая ногами и ползая на карачках.

Ибо миром правит естественный отбор – с голодным, припорошенным злобой, взглядом.

Вот ты и спускаешься.

В низину. В мрачный тоннель с пыльными лампами-факелами. Туда, откуда выхода нет, и не будет. Но только одно – бескомпромиссное, беззвучное и в однообразности своей безысходное – «тым-тым… дым-дым».

Туда, где я в своем закутке. С вечно сырой котлетой, недочитанной книгой и неизменным рыком пассаЖИРопотоку: «Держаться за поручни! Стойте справа, проходите слева!»

Туда, где – «Дежурный метрополитена справок не дает».

И после смены, закрывая блеклый закуток, спускается вместе с «детьми подземелья», чтобы поехать в свои Текстильщики и лечь серой грязью на ладонь мира…

Феномен любви

Феномен любви всегда зарождается из ненависти. Первым вдохом своим ты ненавидишь чуждый мир, появляясь на свет из девятимесячного кокона матери.

Шлёп по попке – и полетел в любовь.

В поцелуй шершавых небритых лиц. В пузцо, в пяточки. В ползунки.

Встаёшь в колготах. Но они всегда не по размеру. Идёшь в детсад. В храм детей. Жрать, спать, танцевать, говорить на стульчике. И ёлки, сплошные – ёлки.

Школа. Парта. Халва на голове. Нет, не хала, – именно халва. Халва вещает о Достоевском, Толстом. А у тебя зеркальце на мыске. А там трусики. Она читала Тургенева. И за косичку – дёрг. Из ненависти, из любви.

Вот мы уже и прикостюмлены. Сидит, конечно, коряво. Жмёт везде, поджимает. Штаны, напротив, висят. Их постоянно надо поправлять. Ты ненавидишь этот костюм, как только можно ненавидеть манную кашу с желтой лужицей посреди. В детском саду.

Но шлёпаешь. Мужик.

Тёти пошли. Тёти. Раз… И хоп – тридцать вдруг. Сбился. Сбились и они. На дядях. А были косички, между прочим, колготочки, юбочки-воланы. Стихи читали. У ёлочки.

И вот – опа! Злое колдовство произошло. В трениках. Без костюма. Орут все вокруг. Кот под ногами плачет. Телик бушует. Ты – с пивасом. Нормальный такой животень. Мало, правда, кто в него уже целует. Всё как-то по-простецки происходит. Не снимая шлёпанец.

Легенды про себя иногда сочиняешь. Всё чаще под водкой. Про «половые семь раз» за день. Про турник и двадцать подтягиваний. В бурной когда-то «пиджачной» молодости. Сейчас то, что. Ни разу на турнике, висишь, «пивотенем» болтаешь. Но хоть один раз за семь дней ещё можешь. Стыдновато, конечно, но и то хлеб.

Думаешь. Оно мне надо? Вот эти все – Достоевский, Толстой, Пушкиноид? Отлично же и без них. Когда-то поцеловали в пузцо, и пяточками брык-брык. По любви.

И когда ты доходишь до этой мысли, то надеваешь костюм из ненависти к самому себе. Чистишь обувь. Подтягиваешь бывший пресс. И выходишь в мир, чтобы кого-то поцеловать в пяточки.

Целовать-целовать-целовать.

Пазл

Е. К.

…Остроносая. Длинноногая…

Локоны, локоны, локоны…

Попа. Боже, какая попа!

Ноготочки. Ноготки. Ногтики…

Флакончики. Гиацинт. Бокал…

Лачки. Лачочки. Лак… Какие-то бирюльки…

А вот и бретельки!..

Журналы – типа гламурность. Сплошной глянец. Сегодня так модно.

Попа! О, Боже! Попа! Там кровь и нервы. Там составы любви. Там нежный глянец! Два полушария – и классически модно! Всегда!

Пупок…

Так, так… Где-то была грудь… Родинки, родинки. Млечный путь из них. Из родинок… Где же все-таки грудь?

Прическа *там*…

Мышки подмышек – «Beyond Paradise»…

Кассета с «Глюкозой». И чуждый окурок. Естественный взгляд исподлобья – на пиво «Warsteiner»…

И снова локоны. Лохматенькие. Кучеряшки. Переплет волос.

О! Бровки. Ушная раковинка. Улиточка. Моллюск.

Плечевой сустав. Суставчик. Рука. Ручка. Рученьки. Что суставы любви.

Вот те раз – «IKEA»! – какой-то поднос…

Глаза. Сияющие. С искоркой. Звездочки. Без банальщины.

Попа, Боже, какая попа! Вызывающая и провоцирующая! Просто пасха какая-то!

И еще кусочки чего-то…

А… Это – грудь!.. Наконец-то!

Жена…

Длинные ноги Кафки

Ты как будто не понимаешь.

Я ору, но ноги твои не слышат.

Они гладкие, они – быстрые. Они летят – а я просто не успеваю. Они сумасшедше нежные, они безумно красивые… Они… они… Это – нехватка слов и перебой чувств… Любовь ли? Химическая зависимость?.. Плевать… Это ноги, которые ушли, упорхали, улетели в командировку… в Прагу… к Кафке – к величайшему трупу, живущему среди живых… О, эти ноги!.. Ты понимаешь, что ты мужчина, только тогда, когда у тебя отбирают ноги… ноги гладкие, ноги шелковистые… Ноги великой женщины… спящей, храпящей, любимой… в храпе своем – поющей… ноги радостные, пальцы свежие, ногти гениальные… А я что… так, рядом… Но в Москве… А ты в Праге… С ногами. По булыжничкам… Пяточками… так-так… с ногтиками… со щиколотками… родная… худышечка… костяшная…. Косточка… нет!.. Словно ягодка… сорвать бы…

Но – Москва! Триколор…

А ты в Праге. Где стяг…

Там, где Кафка – страшный, тараканий, около иудейского кладбища… Он не видел твоих щиколоток, твоих пальчиков, он не слышал песен твоего храпа, он писал о «превращениях» и спал в гробу…

…Великий Кафка…

Он не знал одного – что роднят нас цвета только флагов…

И ноги твои все выше – и икры сильнее, и поступь жестче, а коготочки острее… и нужен ли Кафка?.. если ты там…

…где правили, а я – где все княжили… Ты – где нас, боготворя, ненавидят, я – где ненависть противопоставляют Богу. Где нет ни наций, ни национальностей, ни культуры. Где Карлову мосту с фигурами святых ухмыляется Красная стена с фигурками урн внутри, а «Городу ста шпилей» – мегаполис на семи нечесаных холмах. Где все вышли из Кафки, повытаскивав из него тараканов… И понастроив многоэтажные гробы спальных районов…

…с триколорами на древках…

Ты бежишь по мостовым, и ножки твои на брусчатке, я плетусь по мостовой, а ноги мои, что у трупа на бруствере. Ты – по классическим музеям, я – по выставкам современности. Ты – где культура, я – где понятия о ней. Ты – где люди, а я – там, где Кафка. Ты – где сказка о страшном, я – где страх…

…и без сказки…

Где длинные ноги, торчащие из «Замка», упираются в Кремль с тараканами.

И нужен ли Кафка?

Муза, стирающая носки

Ты состоишь из хризантем. Из тюльпанов. Из роз.

Ты пахнешь. Благоухаешь. Цветешь.

Все, что есть во мне – это ты.

Это розочки по двадцать. По будням. Это букеты из лилий за пятьсот. По пятницам… И по пьяне.

Это строчки на моих брюках. И выстиранные носки. Это пиво в субботу. И чистые полы в воскресенье.

Кухонные посиделки и «полежалки» в спальне. Видео. «Фактор страха». Свинина, «мяснина» – ужин… Теплые ноги под одеялом…

«Смеялки» по утру.

Работа. Работы.

Галстук. Корявый. Мой.

И полосатая юбка. Твоя. Упругая. Гладкая.

Поцелуйчики. Шуточки.

Ты. В каждом вдохе. В каждой мыслинке. В прожитом дне. И в недожитом.

В недовыспанной ночи. В недосмотренном сне.

Ты в бокале. Во фруктах.

В соке «Rich» – мы богаты! Мы – олигархи!

В чистоте любви – и в свежести моих носков. Носков, выстиранных тобой.

В штопке подкладки пиджака.

Мы любвеобильны, ненасытны, неистовы.

Проходя через «Fairy» и «Tide», мы остаемся – мы не застирываемся.

И ты стираешь носки, а я – покупаю хризантемы.

Потому что ты – цветешь…

Потому что ты – муза, стирающая мне носки…

Осколок мозаики

Такое ощущение, что все годы, которые ты положил на то, чтобы кому-то что-то доказать, что все время, покуда выкашливал свою примитивность через прокуренные бронхи, что все часы-минуты-секунды, что были даны тебе для того, чтобы заявить, вычлениться и воздвигнуть себя над другими, с тем, дабы, заявив и вычленившись, рявкнуть: «Я!» – оказались простеньким, убогим и пошлым комиксом на самого себя.

Не дорогим журналом в целлофановой «сорочке», не фолиантом в кожаном переплете и уж никак не альбомом по изобразительному искусству, а именно комиксом с мультипликационными картинками, отобразившему хаос, поиск, потери – мозаику трагичных случайностей, оказавшимися настолько неслучайными и событийными кусочками арабески, которая, сложившись, вдруг разулыбалась и заиграла на солнце – души-артом, души-творчеством, высвертью и биографией человека.

Другого и непохожего.

И лишь для тебя самого какой-то осколок, затаившийся в глубине, – дает осознать: твои мозаика, арабеска, панно ли – ничто по сравнению с ним, который там, где-то в самом углу, почти незаметный, но в то же время самый главный, как ноготок на мизинце женщины, как родинка, чуть колючая, над правым уголком верхней губы, как легкий серпантин растрескавшегося капилляра на спелой ягоде глаза, как черника, вызревшая чуть пониже лопатки, и россыпь, теряющихся в загаре чаинок, усыпавших холмики с песочными замками альвеол, которые, кажется, тронешь, и они рассыплются, но сожмешь – лишь окрепнут, возмутятся, превратившись в неприступные крепости.

Мозаика, которая для одних – жизнь авантюриста, сибарита и баловня, биография насмешника и шута, сумевшего из событийных случайностей, многодневной небритости и болезней сложить яркую бликующую картину, растворившуюся в солнце и свете маленького затаившегося осколка, едва заметно, мимолетно и насмешливо подмигивающего светящимся глазом, длинными, как пальцы, ресницами, ласкающим контуры давно поблекших соседей, звенящего на разные голоса, затмившего собой все анимационные сколки – в отдельности являющимися лишь раскадровками комикса.

И только благодаря ему – маленькому, нежному и выпуклому, что изгиб поясницы той самой женщины, созданное великолепное панно, растворяющееся в тепле столь незначительной крохотки, может прочувствовать, что без этого стекляшка – оно – просто комикс…

СЛОН, или биеннале национального идиотизма

Слон был огромен. Безумен. Сер.

Круп его занимал два этажа эклектичного здания в центре города, а ноги являлись ни чем иным, как двумя вертикальными колоннами. Нетрудно догадаться, какие мысли приходили в голову при входе. Но нет. Все было в точности до наоборот – конечности были передними. Фойе же представляло собой пещеристое шлангообразное помещение, влекущееся на второй этаж, и у каждого вошедшего внутрь складывалось впечатление, что его всосали. Точно хоботом.

Сдав билет контролерше в костюме клоуна с матерчатым носом и разрисованным лицом, посетитель попадал не то в шапито, не то в шалман, в котором дешевизна с лихвой окупалась количеством. Тут и там слышались восхваления, охи и немного сумбурные, от выпитого в кафе из пластиковых стаканчиков бренди «Арарата» (отчего-то в меню именуемого коньяком), не то всхлипы, не то псевдовосторги.

Но увлекало. Влекло. Всасывало.

На стенах висели странноватые плевки дадаизма, под ними бирки: «Слон. Акт 1. Сон», «Слон. Акт 2. Сон Слона 2». И так 13 слонов. При этом дадаистическое искусство нет-нет, но оставляло в зрителе странное ощущение чего-то вторичного, картинку осеннего курортного песка, на котором изрядно отлежались, отзагарались и, собрав все крупицы янтаря, оставили на растерзание морской воде и моросящему октябрьскому дождику. С такой же легкостью «шедевры» можно было окрестить «Инсталляция сна охотника на уток, перезаряжающего ружье во сне. Акт 2. Патрон в патроннике» или что-нибудь наподобие «Пробуждение похищенной Европы». Далее хоть «инсталляция», хоть «акт». Поскольку слона, охотника и Европу на картинах мог узреть только запущенный вариант шизоида, целенаправленно двигающегося к шизофрении. Не было на картинах ничего – ни хобота, ни клювов уток, снящихся охотнику, ни тем более похищенной дадаистами Европы. Чувствовалось другое, оно брезжило, напрашивалось само собой, от него отмахивались, но опять и опять оно просачивалось в мозг и каждым своим мазком вопило: «Всосали. Актом».

На втором этаже было замысловатей. Первая комнатенка представляла собой что-то вроде сердца, по крайней мере, об этом возвещала табличка над входом: «Сердце» (видимо, чтоб ни у кого не возникало сомнений в том, что это именно сердце, а не двенадцатиперстная кишка или аппендикс), и зритель оказывался в комнате, разделенной на четыре отсека, – по замыслу инсталлировавших четырехкамерность должна была символизировать желудочки и предсердия. По верху, под потолком, шли светящиеся трубки и шланги – вены и аорты. В них пузырилось нечто малиновое. В углах же, в виде восковых фигур, обретались голые классики. Достоевский с топором в руке – беспорточный и не одинокий, а какой-то именно одичалый, точно отказывающийся понимать происходящее и готовый зарубить всех организаторов биеннале разом. Пушкин с пистолетом на коленях и лукошком в руках. Поэт ел морошку. Толстой, лежащий на рельсах в скрюченной позе, и Гоголь в гробу, чуть повернутый набок.

На одной из стен двигались слайды – нарезка из шедевров Тарковского и Феллини. Если хватало терпения (а его почти ни у кого не хватало), можно было понять тонкий замысел массовиков-затейников от андеграунда. Получалось, что Сталкер плывет на корабле, вокруг волны, но волны это ни что иное, как планета Солярис, являющаяся внутренней проекцией Сталкера на самого себя, в душе мнящего себя лайнером, с неведомой ему тайной. В конце шли титры: «Летучий голландец» по-нашему. Art&Imagination. Группа «СЛОН». И аккуратный фаллический символ.

После титров в голове начинало дребезжать, как при качке. Хотелось затонуть. И чтоб не спасли.

Но снова комната. На этот раз – «Печень».

Разорванные книги. Битые бутылки. Пробки. Бычки. Фотографии Сергея Довлатова и Венедикта Ерофеева на стенах. Газетные вырезки. Шприцы. Плакат с Мэрилин Монро. Она непотребна, но употребительна. Элвис, трясущий гитарой, что юнец в пубертатный период достоинством. Группа «Нирвана» в уплывающей дали комнаты.

И тут резко «Желудок» – мрачное помещение с подсветкой на экспозициях. Копии работ Дали и Малевича. Все в потеках. Пикассо и Шагал. В фекалиях. И вдруг – «передвижники». Измалеванные. С трудом просматриваемые из-за вылитых на полотна ведер краски. На стенах нарисованы доллары, звезды и свастика.

«Ягодицы» – фотосессии. Монтаж: президент, совокупляющийся с мэром, сиамские близнецы с головами олигархов. Им жить вместе невозможно, но и не жить нельзя. Депутаты, копающиеся в песочнице, – кудрявый с лопаткой, рыжий с ведерком… Кто-то чернявый – грустный, обиженный, неверно определившийся. Около разгромленных песочных домиков в смоляных потеках. Черты лица смазаны. Словно ему не хватает света. Из окна многоэтажного кремлеобразного дома – восточная дама в очках и с короткой стрижкой. Крик: «Ребята! Домой! Мультики!» Фотография – «Родина-мать зовет!».

И так далее, и тому подобное.

Попадая в «Хвост», зритель вливается даже не во вторичность образных рядов, а в их третичность. Несколько загогулин, с трудом напоминающих гвозди. Картина пять на пять метров: «Голгофа». Фарфоровый бюст без головы: «Власть» и пара-тройка голых манекенов – «Андроиды».

И, наконец, на выходе, как насмешка над самими собой – над «инсталлирующими», – «Сфинктер». Посетитель спускается вниз и думает об учениках-иудах, предавших Учителей.

Там – их фотографии. Они – «Гении»! Смердин, Лущенко, О, Нигилев. Внимание заостряется на «О». «О» ничего не окончил. Но кто-то в биографии был корейцем. Что якобы «знаково». Однако, сам – слесарь. Смердин – закончил, но во времена гонений был не признан. Нигилев – признан давно и обошелся без гонений. Лущенко – мать двоих детей, очень любит своего кота де Сада.

И это все. Хотя можно продолжать до *бес-конечностей*.

Зритель плетется вниз по ступеням и понимает, что был он не всосан, а…

Но это уже для биеннале национального идиотизма…

Радикализация искусства

Все-таки в дерьме что-то есть,
миллионы мух не могут ошибаться.
Станислав Ежи Лец

Паша вошел в театральный зал, покрутил куриной головой, хватким птичьим глазом всосал в себя присутствующих и кукарекнул: «Бляди!»

Собравшиеся зааплодировали. Паша умостился в первом ряду и нахохлился.

Тогда на сцену выполз толстомордый небритый ведущий. Он выудил из кармана пиджака носовой платок, шумно высморкался, затем протер платком очки и, отхаркавшись, возвестил:

– Господа! Дамы! Дамы, собственно, и Господа! Как вам известно, современная драматургия претерпевает большие изменения. Кардинальные. Существенные. Театр, по сути, давно является профанирующим элементом продажной власти. Фактически ее пятой, после СМИ, составляющей. Что же дает нам этот неповоротливый мастодонт?

– Что? – храбро спросил из зала фальцетный голосок.

– Ни хера. Ни хера не дает, – припечатал ведущий. – И потому мы, представители, так сказать, радикальной драматургии должны взять этот вопрос на себя. Мы обязаны ткнуть эту власть, этот театр, это гребаное искусство, состоящее из косных чеховых и плюшевых кулис, в реальное говно. В жизнь как она есть. В правду-матку!

В зале шумно зааплодировали.

– Бляди! – выкрикнул Паша и зло почесал свеженабитую татушку на когтистой лапке.

– Именно, – согласился ведущий. – Но блядство, как составляющее нашего общества, не есть самоцель и перцепция, не есть суть вещей из необходимости, но есть местоположение срединного среза внутренней канвы… Так сказать, ее сердцевины, являющейся истиной…

На зал обрушилась тишина. Лишь было слышно, как истошно заливалась муха, нарезая круги туда-сюда, как шаркал чей-то старый башмак по полу, как хрустела целлофановая обертка. Зал затаился. Зал внимал.

– Что же представляет собой драматургическое блядство, спросите вы?

– Да? Что? – раздались бодрые голоса.

– Поясню. Драматургические блядство – есть окунание блядей в некую блядовитую субстанцию, являющейся самостью этих блядей.

Муха продолжала нарезать круги, башмак застыл, целлофановая обертка упала на пол.

– То есть, беря за аксиому, что мир – есть самодостаточная блядь, мы, обнажая его изъяны, как бы поворачиваем блядь к зеркалу и заявляем: «Мы – не бляди! Бляди – не мы!» В этом и есть смысл радикализации драматургии. Ткнуть театр в блядь. В саму себя. Взять на себя ответственность по развенчиванию проституирующих мифов.

– А, простите, можно вопрос? – с места поднялась джулеттоподобная барышня. – Вот вы говорите все время это слово… ну вот, которое вы говорите и говорите… но мы же сидим на драматургическом семинаре, в театре…

– В чем вопрос? – рыкнул ведущий, сверкнув фасетчатыми глазами.

– А нельзя без этого слова?

– Нет! Сядьте на место! – резанул тот и немного задумчиво посмотрел на муху в летных очках – та заходила на очередной вираж. Затем, собирая слова в глубокомысленные фразы, ведущий продолжил: – Истинная радикализация заключается именно в прямолинейности, в точном, если хотите, в точечном, обозначении сути вещей. Если власть – блядь, то театр, обслуживающий власть, – есть тоже блядь, в то время как зритель – есть блядь, смотрящая

на блядь, обслуживающую блядь. И никак иначе. По сути, зритель превратился в вуайера. В извращенца, подглядывающего за властью.

– Но ведь не весь театр о власти… Есть же пьесы о любви, их много, – не сдавалась барышня.

«Это кто такая? Вы ее знаете? Что она себе позволяет?!» – раздались возмущенные возгласы. Даже муха укоризненно посмотрела сверху вниз на белобрысое темя девицы.

– Есть пьесы о блядстве, а не о любви. Или вы полагаете, Ромео Джульетту платонически любил? – иезуитски поинтересовался ведущий.

– А как?

– Он ее вожделел. То есть хотел. Иными словами, собирался выебать.

В зале крикнули: «Браво!»

– Он ее любить хотел, – не согласилась девушка.

– Но как?! – победно вскинул палец ведущий. На кончик пальца тотчас спикировала муха. Зашевелила лапками, протирая очки. Заинтересованно повернулась к оратору. – Радикализм любых отношений заключается в выявлении сути. А подноготной отношений между мужчиной и женщиной является ебля. Но за еблей всегда стоит власть. Власть обладания. Власть ебли. Вы же не будете с этим спорить? – Ведущий направил перст с восседавшей на нем мухой в сторону девушки.

– Вы какую-то ерунду несете…

– Блядь! – крикнул с первого ряда Паша.

– Правильно! Выведите ее отсюда! – поддержали Пашу в зале, и несколько бойких рук потянулись к хрупкому тельцу.

– Я не уйду! В конце концов, у меня такое же право здесь быть, как и у вас! – сопротивлялась девушка.

– Блядь не может иметь право, – отрезал ведущий и звонко щелкнул пальцами. Муха молниеносно взвинтилась к потолку. – Блядь может только обслуживать!

Гром оваций и аплодисментов грянул в зале. Муха ошалело заметалась под потолком: зрение у нее расфокусировалось, вестибулярный аппарат подвел, и ее стало подташнивать. Насекомое вяло спланировало на приоткрытую дверь.

Девицу без труда выволокли из зала. На сцену поднялся Паша. Ведущий радушно ощерился.

– Итак! – возгласил он. – В обнажении миазмов общества, мы, подобно хирургам, должны нанести удар по театру. При помощи минималистических средств, при полном отречении от нарыва рампы и опухоли подмосток мы обязаны спуститься в зал к зрителю, растормошить его и, ткнув в зеркало… Паша, пожалуйста! Покажи им… инсталляцию!

Ведущий спустился вниз. Паша вышел на середину сцены. Взял долгую мхатовскую паузу. Было слышно, как в тишине не резвится муха, как не шоркает башмак, как не падает целлофановая обертка на пол. Зал внимал искусству. Зал обмирал. Зал ждал чуда. А Паша смотрел. В глаза, в лица, в судьбы. И тогда Паша раскинул руки-крылья. Тогда Паша возвестил. Тогда Паша крикнул одно емкое, одно точное, одно испепеляющее слово. Слово, из-за которого, думал Паша, началась война Монтекк с Капулетти:

– Бля-я-я-ди!!!

Зал оглушенно молчал. В зале никто не аплодировал. В зале ждали продолжения.

Но продолжения не было. Паша сложил крылья, низко поклонился и гордым петухом выкатился из зала. Больше новатор и хипстер Паша слов не знал.

Радикально хлопнула дверь. Дверь радикально прищемила муху. Муха радикально замолчала.

Семейные трусы

В двадцать я выгуливал кровь. Выгуливалось. Иногда чувствовал себя пустотно. Оскоминно. Стыдно. Как-то суетно. Но забывал. Писалось легко и просто. Оснований считать себя гением было предостаточно. Брошенных женщин я себе прощал. Не взращенных детей тоже. С легкостью! Ходил без трусов, ибо жали – эрекционен был везде. Я был гением! Творцом! Имел право.

К двадцати пяти чувство «творца» стало пропадать. Женщин становилось больше – прозы, соответственно, меньше. Думал – нагоню. Гонял. Пустоту в себе. Ощущать себя начал талантливым. Уже не гений, но и не писака какой-нибудь… Свирепствовал. Не гениальничая – талантливичал. Читая одних – воспарял, других – иезуитничал. Эко я!.. Стринги врезались в промежность… Но кое-что все же мешало…

К тридцати стал побаиваться. Чего? Понять не мог. Принялся жечь сам себя. Утрачивал. Утратил. Того – двадцатилетнего. Коряво казалось. Смешно. Не умно. Резал абзацами, вырезал главами, выдирал листами. Стыдно за гения стало. Пошлятинка. Взялся за двадцатипятилетнего. Ничего, ничего. Очень ничего… Но вот тут и тут… И вот здесь еще… В мусор, короче, – склонившись над ведром и потрясая «кленовым листком». Незаметно начал чувствовать себя пишущим. Писал долго. За год – десять предыдущих нагонял. Не по качеству, правда, – по количеству.

Женился. Взрастил и вскормил. Стиль появился. Не гений, конечно, – но стиль. *Словом,* похож на всех. Фамилию поменяй – никто и не заметит. Однако я! В «дубовых» сатиновых трусах. Но чувствовал – подвисало. Хотя печатали, хвалили… Развелся.

Воспрял как-то. Снова почувствовал себя гением. Тридцать пять. Кое-кого уже пережил! Во всю печатался. Серьезно. Мог назвать критиков – критиканами. Называл. Стал часто носить плавки – спортивничал, крутил из себя того – двадцатилетнего. Но *там* все больше скучал. Искры не было. Хватки.

К сорока что-то произошло. Будто отказала ручка, будто чернила закончились… Перечитывал… Естественно, себя родного, кого же еще!.. Вяловато… Похож на всех сразу… Собственного «эго» (от, набрался за годы слов!) не выразил… да и не имел, наверное, «эго» этого… Смешон и ущербен… Стали жать плавки. Потело… Хотел скупить тиражи… уничтожить… Но уже скупили… дурачоныши… выставили на полках… стирали пыль… глупыши… Я-то знал – чушь! Остановился. Не писал. Дергал правым предплечьем. Привычка.

Через год взялся за старое. Решил – в стол. Для потомков. А как же! Написал. Вырвало. *Буквально*. Перечитал. Оказалось, по новой взялся за старое. Дай, думаю, потерплю – с месяцок. Терпел. С неделю. И снова за стол. Черкать и чирикать. Да что это я, в самом деле! Писать! Новое! Другое! Свое!

К пятидесяти подзабыли. Кто? Что? Откуда? Но выдал! Ах, да! Вспомнили. Приютили. В колонках. «Старое новшество». Вот оно! Не поняли! Стало быть, гений! Гоголем ходил, Пастернаком цвел, Горьким плакал. Сладко так – с мазохистским подтекстом. Не признан. Охаян. Гоним. Писатель, значит! С большооой буквы Писатель!.. Правда, перестал совсем плавать – возраст. Плавки сменил на трусы. Долго носились. Как не менее долго жали.

Отхаялись. Признали. Просто пара звонков и ненавязчиво-навязчивый пиар. Снова стали читать. Но без удивления как-то, без пиетета должного. Так – нормально. Читается. Имя имею – и хорошо. Сладенько так, не суетно.

К шестидесяти предложили роман. Тему. Сюжет. Пишу. Ничего так. Скучно, но пишу. Не мое. Немое. Ноги мерзнут. В кальсоны облачился. Себя двадцатилетнего вспоминаю. Безтрусового. Голышоныша. Того – кого сжег. Не профессионала, конечно. Безстильного и наивного. Разнопланового какого-то, разноразмерного и разношерстного… Но как-то…

более честного, что ли. Не лгущего – без пятен в промежности… Но променял. На тепло и уют. Хоть и преет.

И вот мне семьдесят. Я в пигменте. Не пишу уже. Обрыдло – не хочу выгуливать совесть. И не хочу восьмидесяти. Знаю – писать никогда не буду. Ничего. Ибо нечего. Мне холодно и боязно. Пижама врезается в пятна. Я вспоминаю себя и уже не считаю себя кем-то.

Висит…

Лунные мухи[1]

И была ночь. И висела Луна, и отражалась в окне.

И говорил один другому:

– Я вижу Селену.

И отвечал второй первому:

– Ты видишь отражение… Как он…

И спорил первый со вторым, и бил кулаками в грудь, и ухмылялся второй, скрестив руки, точно покойник.

– Шар. Спутник. Чудо Бога – кратер наших душ, океан любви, грусть неба… Отражение солнечного света.

– Перелив пластмассы в окне. Массивный шанкр. Цвет застоявшейся мочи, – показывая вверх, кривился второй.

– Коперник, Ньютон, Кеплер!!!

– Почили, умерли, сдохли… Как он…

– Океан Бурь, Море Дождей, Море Спокойствия!

– Вольты, ватты, шнур… Пыль, жир и мухи.

– Луноходы!

– Мухи.

– Циолковский, Максвелл, Менделеев, Курчатов!

– Мухи, мухи, мухи…

– Гении! Переворот! История! Герц!

– Мушиное копошение. Смрад сорока ватт. Грязная кухня наших мыслей. Занавесь чувств.

– Кратеры.

– Трещины. Куплю новую.…

– Не могу смотреть. Его вспоминаю… Он верил в свет!

– Тускло. Заменю.

– Мечты, полет, завоевания!

– Котлету будешь?

– Сидерический месяц!

– До зарплаты треха. За свет заплатить…

– Лунная карта!

– Промокни скатерть – заляпал.

– Склодовская-Кюри, Попов, Ломоносов!

– Куплю дихлофос. Не знаешь, что лучше?

– 59% ее поверхности мы наблюдаем отсюда.

– И 40% под лампой. Один – опохмел.

– И Галилей… Но почему?!

– Галлон спирта. Не оставлять же? Наливай.

– Годвин, Бержерак, По…

– По-дай салфетку.

– Уэллс, Беляев, Верн…

– Верн-ешь чирик?

– После похорон. Лем, Азимов…

---

[1] Использованы «лунографические» термины и названия, а также имена ученых и мыслителей, посвятивших спутнику Земли свои исследования и труды.

– А зимы здесь длинные.

– Подумать только, от узкого серпа до полного диска! Рождение – смерть, и снова рождение!

– Помянем.

– Как мог он, на лампе?

– Не выдержал. Думал, Луна.

– И Море Москвы…

– «Московскую» выпил, и все, и в ремень. Он думал, Луна. Так часто смотрел он в окно… А я говорил – отражение лампы. А он мне – Луна. Он видел неправду. Я выключил свет. Он – поверил… Идем, допивай… Я помогу…

И выключил свет. И было затмение. И мухи застыли…

И понял другой: потухло ночное светило – отражение лампы в окне.

Сомнамбулой дернул ремень он тогда.

Боязливо, испуганно, страшно…

Аллегро нон мольто

(1)

«Нина, Нинель, Нинок! Боже, как хорошо, что ты пришла. А где Томочка?» – Николай Владимирович оторвал голову от подушки, облокотился на руку и, обессилев, рухнул.

«Не вставай, не вставай, тебе нельзя волноваться. – Антонина Васильевна закрыла дверь одноместной палаты, приставила стул к постели, разложила гостинцы на тумбочке: бульон в термосе, апельсины, яблоки, овощной сок, свежие газеты. – Поешь, он горячий».

Она отвинтила пластмассовую крышку с термоса, вытащила из тумбочки серебряную ложку, подкрутила колесико у изголовья кровати и взбила подушку. Кровать превратилась в подобие кресла. Николай Владимирович устроился поудобней, вдохнул полной грудью, но тотчас схватился за сердце и с присвистом процедил:

«Не доживу…»

«Все будет хорошо, – отозвалась Антонина Васильевна. – Скоро операция. Поставят новый клапан. И будешь, как раньше, помнишь?»

«Когда мы слушали „Весну“ Вивальди?» – синие губы Николая Владимировича болезненно искривились, левый глаз дернулся.

«Да, да. Аллегро, ларго, аллегро», – печально произнесла Антонина Васильевна и поднесла ко рту Николая Владимировича ложку с горячим бульоном.

Николай Владимирович обжегся. По губам потекла желтая больная струя, склеила морщинки на дряхлом, поросшем трехдневной щетиной подбородке и медленно поползла за яркую абрикосовую майку, видневшуюся под шелковой пижамой.

«Салфетку, – простонал Николай Владимирович. – Дай мне салфетку».

Антонина Васильевна вытащила из кожаной сумочки ажурный платочек, пахнущий «зимними» духами. Вытерла им губы и подбородок Николая Владимировича, заложила за фруктовую кайму майки.

«Это все ложка, – обиженно вымолвил Николай Владимирович. – От серебра всегда жарко. Пусть остынет».

«Остынет – будет невкусно. Я подую», – наставительно проговорила Антонина Васильевна.

«Но ложка горячая, – вяло запротестовал он, но все же подставил серое алюминиевое лицо к поблескивающему металлу. – Хорошо. Хорошо-то как».

Николай Владимирович промокнул губы платочком, отдал его Антонине Васильевне и откинулся на подушку. На лице проступил румянец.

«Так где Томочка?» – снова спросил он, массируя левую часть груди.

«У нее сегодня защита».

«Защитит, как думаешь?»

«Защитит», – без тени сомнения кивнула Антонина Васильевна.

«Да, я на прошлой неделе звонил… – вкладывая двойной смысл в слова, сыто произнес Николай Владимирович. – Что внуки?»

«Тёма еще в школе, вечером обещал заскочить. Никитка на соревнованиях».

«Чудно́, как все-таки чудно́, что они у нас с тобой есть. Ведь правда?» – Николай Владимирович приподнялся и преданно, по-собачьи, посмотрел на супругу.

«Правда, правда, – согласилась с ним Антонина Васильевна, – иначе, зачем все это…»

«Что?» – не понял Николай Владимирович.

«Иначе, зачем, тогда… ну, помнишь… мы все-таки решились…»

«Да, – усмехнулся Николай Владимирович. – Кто бы ходил ко мне сейчас, кто бы навещал?..»

«А был бы ты?» – совершенно серьезно спросила Антонина Васильевна.

«Ты думаешь, все сложилось бы иначе?» – Николай Владимирович протянул руку к газетам и надел очки в тонкой позолоченной оправе.

«Как знать, как знать. Но я бы здесь точно не сидела».

«Не вороши старое. Ты же сама сказала – мне нельзя волноваться», – хитро заметил Николай Владимирович.

«И правда, – Антонина Васильевна пожала плечами в мягком персиковом вельвете, поправила длинную, сшитую на заказ юбку, полюбовалась сапожком на аккуратненьком каблучке и произнесла: „Новости“ смотреть будешь?». Кивнула на «двойку», стоящую на небольшом холодильнике.

«Повременю, – ответил Николай Владимирович. – Отдерни шторки, пожалуйста».

Антонина Васильевна обогнула постель, подошла к окну и раздвинула свисавшие до пола шторы.

«Зима. Аллегро нон мольто», – протянула она.

«Ларго, аллегро, – отозвался Николай Владимирович и тихо прошептал: – Скрипка смерти».

«Не дует?»

«Теплоизоляция, – гордо заметил Николай Владимирович. – После операции обязательно подарю Андрюшке машину».

«На нашего зятя молиться надо, – согласилась с ним Антонина Васильевна. – Светило, кардиохирург. Да что тут скажешь!.. Ну, я пошла».

Она накинула дубленку теплого цитрусового цвета, склонилась над Николаем Владимировичем и поцеловала в сталистую щеку.

«Ты за Томочку не переживай, – сказал он. – Я позвонил».

«А я и не переживаю. Ну, не скучай».

Когда щелкнул замок, Николай Владимировичем отложил газету и подумал, что за годы совместной жизни никогда не называл супругу ее настоящим именем. Ему почему-то казалось, что в нем скрыто что-то простонародно-корытное – Антонина Васильевна… В то время как Нинель без отчества таило в себе аристократичность, благополучие и достаток. Те мнимые качества, которые замысловато перекраивают Людмил в Люций, Наташ в Натали, а Марий в Марго.

Впрочем, производные от истины со временем стали нравиться ему больше самой истины. Даже в таком незатейливом созвучии, как «Николай Владимирович», он умудрялся находить намек на некую родовитость. Что же касается отношения к классической музыке, в которой он неплохо разбирался, поскольку круг общения у него был широким, и это обязывало поддерживать разговор не только о материальных, но и о духовных ценностях, о возвышенном, то он ее никогда не любил и не понимал, но зато обожал поговорить о своей любви к ней. К Вивальди он относился примерно так: «Это – классика!» Если бы становление Николая Владимировича, как личности, пришлось на эпоху шариковых дезодорантов, он бы, не задумываясь, произнес: «Вивальди? Что ж… Стильно, стильно…»

1

Он беспокойно зашевелился под одеялом, скинул на заплеванный пол старую газету и обнаружил, что его нос упирается в цедру какого-то фрукта.

– А я тебе кричу, кричу, – заперхал с соседней койки старик со злыми, как чесночные дольки, глазами и швырнул в его сторону огрызок. – Вставай, процедуры.

Медсестра откинула одеяло, он перевернулся, стащил пижамные фланелевые штаны, которые носили до него, по меньшей мере, человек тридцать – в жутких ромбах, с тугой резинкой, врезавшейся в поясницу, отчего на теле оставался бордово-лиловый рубец, – повернулся набок и почувствовал в начале едкий запах спирта, затем влажный комок на ягодице, а после – обжигающую струю, врывающуюся в тело.

– Больно, как больно, – простонал он.

– А ты терпи, терпи. На том свете еще больнее будет, – зло отозвался огрызкошвырятель и в жутком смехе обнажил верхний ряд вставных зубов.

– Заткнитесь, пожалуйста…

– Вот безносая придет, тогда и заткнусь, но прежде на тебя, клапанщик, полюбуюсь, – рыкнул в ответ старик.

– Ведите себя прилично, – рассердилась сестра. – Вы почему все время таблетки выплевываете? – обратилась она к ветошному хохочущему мерзавцу. – Вот пожалуюсь Андрею Павловичу.

– Они невкусные, – словно трехлетний шкодник-ангинщик запричитал неугомонный старик. – И вообще… Я с инфарктниками лежать не хочу. Что ни ночь, все гикаются и гикаются. А у меня выслуга перед отечеством – мне одноместка полагается. У вас же есть одноместки, правда?

– Правда, – подтвердила она.

– Вот и переведите меня туда, – рявкнул правдоискатель что есть силы, отчего верхняя челюсть выскочила изо рта и запрыгала на пододеяльнике в картофельно-свекольных разводах. Без тени смущения подхватив ее и ловким привычным движением водрузив на место, старикашка осклабился.

Подавив невольную улыбку, девушка строго произнесла:

– Все палаты заняты, мест нет. Если хотите, жалуйтесь Андрею Павловичу.

– Э, не, – хитро прищурился шкодливый. – Я пожалуюсь, а он возьмет и во сне меня заколет…

– Прямо уж, – искренне удивилась сестра столь абсурдному заявлению.

– Точно говорю: заколет, заколет. Вон Никодимка давеча жаловался, что из одиночки по ночам звуки раздаются: телик кто-то на полную громкость смотрит, – а утром-то Никодимки и не стало. Миокард гостинцев принес. А теперь угадайте, кому он жаловался? То-то же… – мразно ощерившись, подхватил сушеную корку от апельсина и швырнул в сторону окна. – Не спи, смерть проспишь!

– Немедленно успокойтесь! – прикрикнула сестра, угрожающе подняв шприц.

– А он спит и спит, – пожаловался старичок. – Целыми днями. И храпит, подлец. Спать не дает.

– А вы ему поцокайте, – посоветовала она.

– Это как? Глык-глык? – Старичок щелкнул желтоватым мясцом языка по десне и на лету подхватил челюсть.

Сестра прыснула.

– А ты не лыбься, не лыбься, – вставляя челюсть, шамкнул старик. – Вот доживешь до моих лет, не целована, не ласкана, тогда и артачься.

– А вы, значит, без греха, – негодующе защитилась девушка и зарделась.

– Не помню, давно это было… – засмеялся он, да так, что слезы выступили на глазах. Из носа потекло, и паршивец вытерся пододеяльником.

– Не смейте сморкаться… У вас что, носового платка нет?! – подскочила к нему сестра.

– А кто ж мне его принесет? – ковыряясь уголком в ноздре, прогундосил старичок. – Все меня бросили, никто не навещает…

Сестра выдернула одеяло из его рук и брезгливо посмотрела на скользкое пятно.

– М-да, надо бы поменять, – закручинился тот, поджав сучкообразные ножки. – Совсем захирело… Э-э, куда вы? А чем же мне укрываться?

Девушка вытащила байковое одеяло, швырнула старику, скомкала пододеяльник и направилась к выходу.

– А они сегодня опять под себя ходили, – снова подал голос больной, кутаясь в провонявшую смертью ткань.

– Кто? – обернулась сестра.

– Они – кто спят все время. Спят и серят, спят и серят.

– Это правда? – спросила сестра лежащего около подоконника.

– Случайно. Вы же на ночь туалет почему-то закрываете, а я судно не нашел, – отозвался лежащий. – Поверьте, в последний раз.

– Нянечка простынку поменяла?

– Да, спасибо, все хорошо. Простите, так получилось. Мне, право, очень жаль.

– Ну, ладно. Вы не переживайте. Вам вредно… Кстати, ваши родственники за шунтирование деньги в кассу внесли?

– Обещали на следующей неделе. Вы же знаете, такая сумма…

– Сердце ждать не любит. Между прочим, я что-то не видела, чтоб вас навещали.

– Заняты очень.

– Могли бы и поинтересоваться, – куда-то вдаль сказала сестра.

– Серят. Все серят, – злобненько процедил ябедник, скомкал газету, засунул ее в рот, сжевал мокрые свинцово-черные катышки и плюнул в сторону окна. – Нет у тебя денег, и родственников нет. Подохнешь ты здесь.

2

Как же он ненавидел их всех – этих жалких, смердящих, дохнущих под утро стариков, у которых не было сил бороться со смертью, но и не было сил противостоять жизни – жизни, провонявшей зеленкой, капельницей, карболкой, до отказа забитой полутрупами-полулюдьми, жизни, в которой свет солнца сменило постоянно перегорающее двухсотваттовое светило, висящее над переполненной палатой, жизни, в которой место любви заняло расписание «Прием с пяти до семи. Верхнюю одежду оставлять в гардеробе», жизни, подобной смерти, нет, даже хуже ее… потому что после смерти уже ничего не ждешь, ни на что не надеешься, а тут… все еще теплится жалкий ночничок в груди, в котором, кажется, замени спиральку, патрон, лампочку, и можно жить… Суета…

Как же были мерзки эти одышливые, ворчащие сопливцы, надеющиеся на чудо. Старики – чьи квартиры давно были заняты внучатым молодняком, чьи пенсии равнялись стоимости буханки хлеба, чьи надежды рушились с каждым астматическим приступом, с каждой новой резью в груди – еще большей, еще пронзительней, чем вчера, чьи бассоны переполнялись нечистотами, чьи вены выползали, словно корни дерева, цепляющегося за жизнь, – дерева сохлого, идущего под спил.

Как же он не переносил обеденного пюре, морковных котлет, прокисшего борща, гадкого компота из сухофруктов, жиденького чая и подернувшегося морщинистой пенкой, которую точно сплюнули в облезлую кружку, киселя.

Как раздражали родственники, – навещавшие этих подыхавших, никому не нужных уродцев, давно потерявших половую принадлежность, – с их пакетами, авоськами, сетками, из которых пахло рождеством, праздничной елкой, гирляндами, подарками, снегурочками. Мандаринами, бананами, конфетами, шоколадом. Нектаринами, грейпфрутами и прочими гибридами. Цитоплазмой достатка! «Нет, это ему нельзя, спрячьте, у него завтра операция. Пусть внук съест». – «Отдайте мне, отдайте, ну отдайте же», – хотелось крикнуть кривляюще-

муся, не по годам толстому девятилетнему мальчишке, набившему рот шоколадом с орешками, гулко пьющему мультивитаминовый сок из надорванного пакета, вонзающего лопатообразные, заходящие друг на друга зубы с корректирующей пластиной в банановую мякоть. «Отдайте, у меня никого нет, слышите – никого, ко мне никто не приходит». Но он лишь глубже прятал голову в складки прелого, пропахшего лекарствами одеяла, отворачивался к окну и пытался забыться.

Но холод, холод… но декабрьская стужа и щели в рамах… и падающий снежок – на кипятильник и кнопку вызова, на край и без того ледяного «подзадника», на подушку с больничным штампом, на разодранный матрас с торчащим седым ватным клоком… И эти окоченевшие ноги мертвеца – «принесите мне шерстяные носки!» – с давно не мытыми проемами между пальцами, не стрижеными ногтями, ороговевшими плоскими пятками… Не дают заснуть, не дают не слышать этого мерзкого детского голоса, наивно спрашивающего в промежутках между посербываниями: «Дед, а когда ты помрешь, я смогу забрать ту коробочку со значками, которая стоит у тебя на письменном столе?» – «Сможешь, внучок, сможешь». – «Что ты говоришь такое? Дедушка еще сто лет проживет», – раздается голос матери, в котором слышится столько неискренности, что хочется откинуть это заиндевевшее одеяло и крикнуть: «Заткнитесь, пожалуйста. Пожалуйста, заткнитесь. Дайте умереть».

Но стыдно и холодно. Стыдно – оттого, что никто не услышит. Холодно – оттого, что никто не поймет. И только слышишь в ответ старческое скрежетание: «Он у нас еще маленький – не ведает… Эх, ордена, что толку в них…»

(2)

«Как дела, Тёмочка?» – Николай Владимирович вышел из туалета и притворил дверь. Было слышно, как журчала вода, и наполнялся бачок. Он вытер руки махровым полотенцем и повесил на крючок двери. Прошаркал к постели, развязав широкий пояс, снял атласный халат с двумя беснующимися драконами, скинул велюровые тапочки и залез под одеяло.

Внук – кучерявый блондинчик, в пиджачке цвета разрезанного инжира – играл в какую-то электронную игру, и его пальчики быстро семенили по кнопочкам.

«Нормально, деда. По математике – отлично, по английскому – замечательно».

Дед протянул руку и потрепал золотистые кудри мальца.

«Умничка, весь в отца пошел, – похвалил Николай Владимирович. – Как мама?»

«Защитилась», – бросил внук, вставляя мерцающую геометрическую фигуру в паз.

«Понятное дело… Я тоже, в свое время, как она… Дома не видел, – вспомнил Николай Владимирович. – Мамка твоя еще маленькая была, вот как ты сейчас – бальные танцы, кружок актерского мастерства, математика – точно юла. А я словно бы проглядел тот момент, когда она выросла, – работа, диссертация, связи, работа. – Николай Владимирович просунул руку под пижамную куртку и стал массировать сердце. – Какой же год тогда был?.. Ты меня слушаешь, Тём?»

«Угу», – ответил внук, выстраивая подрагивающую пирамиду.

«Вот помню, защитился я… Родителям твоим квартиру оставили на лето, а сами в Крым мотанули, на три месяца. Ух, время было. Как там, у Вивальди, не помнишь, Тём? Аллегро, адажио, престо?.. Впрочем, что это я. Не знаешь ты».

«А это кто такой?» – спросил Тёма, на мгновение оторвавшись от тетриса.

«Так… сегодня уже никто», – отмахнулся дед и опасливо покосился на тёмочкин плейер, торчащий из кармана пиджачка.

«Ага… Понятно», – произнес Тёма, углубляясь в игру.

«Она как? Сегодня заскочит ко мне?»

«Не знаю…» – пожал инжировыми плечами внук, выключил игру и сказал: «Ну я это… пойду, а?»

Малыш подхватил цветной рюкзак с пальмами и фламинго в шлепанцах, наспех, немного брезгливо поцеловал деда в поросшую елью щеку, надел переливающуюся спелым виноградом куртку и пошел к двери.

«Иди, Тёма, иди… Ой, подожди, там в холодильнике фрукты. Возьми себе».

«Не, деда, лечись. Тебе нужней».

«Да куда мне. А у тебя самый возраст. Тебе витаминов побольше есть надо».

«Не такой уж ты и старый, деда. Вот папка тебе операцию сделает, на сто лет помолодеешь. Чао. Выздоравливай. Завтра приду», – бросил на ходу Тёма и надел наушники от плейера, из которых послышалась приглушенная писклявая музыка.

В проеме сверкнула золотая шапка волос, дверь медленно закрылась, и на миг показалось то давнее, забытое весеннее солнце, которое много лет назад так ярко светило и так больно резало глаза, а лучи его подбирались к молодому сердцу, из которого вырвалось:

«Нина, Нинель, Нинок, все будет хорошо, справимся…»

«Как здорово, что они у меня есть, – подумал Николай Владимирович, включив ночник. Мандариновый свет упал на одеяло, в изножье прикрытое шотландским пледом. – Ниночка, Томочка, Андрюша, Никитка, Тёма. Как все-таки замечательно! Как прекрасна жизнь! Лишь сердце – ну да ничего. Андрюшка поправит. И как тогда, когда они сидели с Ниной на лавочке, когда сердце еще не шалило, нет, кажется, именно тогда в первый раз и кольнуло. Нервы, нервы…»

Но кто мог подумать, что одна пьяная вечеринка с бесшабашными филологинями, физиками и экономистами перевернет всю его жизнь. Он и не знал-то ее толком. Пару раз видел на лекциях, когда четыре группы совмещали в одной аудитории, и фанатик-профессор читал курс по политэкономии. А потом – медиум. Жесткая койка в общежитии. «Как зовут тебя?» – кажется, спросила. «Потом, потом», – задыхаясь, ответил. Утром проводил до автобусной остановки. Стараясь не обдать перегарным смрадом, чмокнул в щечку. Назвал лапушкой. Помахал вслед ручкой. А после была капель, несданные коллоквиумы, мимолетные встречи, девичьи слезы. И вот конец марта. Все пенится и кружится. Она задумчива и напряжена. Он раскован и весел. «У меня проблема». Нет, кажется, она сказала «у нас», точно: «У нас проблема». Скулы свело… Присели. Закурил. Сигарета тлела. Хотелось сорваться и убежать. Трусливо спрятаться где-нибудь в кустах, затаиться, выждать. Вся жизнь насмарку. Не погулял. Не надышался. Не вдохнул полной грудью. Вот и все, конец. Он швырнул сигарету, ласково приобнял ее, – Боже, как же он ненавидел ее в тот момент, – и сказал: «Прорвемся…», а может, и не так. Не важно. А потом, потом… Потом была сессия. Она вылетела. Он остался. Родилась Томочка. И завертелось: пеленки, общежитие, аспирантура, командировки, кандидатская, квартира, докторская, внуки. Зять. Деньги. Много денег. Очень много – туалеты оклеивай. «Как странно, – думал Николай Владимирович, – сложилась жизнь, ведь не будь Томочки, то, возможно, и не лечил бы меня сейчас Андрюшка. Как все-таки хорошо получилось! Нина, Нинель, Нинок».

«Папа, папка, – в палату вбежала Томочка в распахнутой норковой шубе с немыслимых размеров букетом экзотических цветов, пахнущая дорогими духами за номером не то пять, не то девятнадцать, красивая холеная женщина, немного выпившая и раскрасневшаяся на морозе. – Папка, милый, поздравь меня я – профессор!»

3

– Как самочувствие, больной? – с легкой иронией поинтересовался Андрей Павлович, подойдя к окну.

– Болит, всю ночь не спал.

– Ну, ничего, ничего. Вот операцию на днях сделаем, и на поправку пойдете. Когда родственники деньги перевести обещали? – выпроваживая иронию за дверь палаты, спросил Андрей Павлович.

– Нет у них родственников, и денег нет. Неудачники они, – раздался жиденький голосок с койки старика. И там зашуршали газетой.

Андрей Павлович не отреагировал и указал глазами на граненый стакан и тарелки с застывшей гранитной снедью:

– А что это вы сегодня не ели ничего? И пюре с сардельками остыли совсем. Невкусно?

– Изжога у меня.

– Так вы бы компота попили, что ли.

– Не люблю сухофрукты.

– Что ж, значит, живы еще, раз привередничаете, – пошутил Андрей Павлович. – Так когда, говорите, деньги переведут?

– На следующей неделе обещали, – пряча глаза, ответил больной и вдруг заметил: – У вас рукав в чернилах.

– Где?

– Вон – левый манжет.

– Ах, ты. Вот, что значит бобылем ходить, никто и не присмотрит. Где же я так? – посетовал Андрей Павлович, пряча руку в карман халата.

– А сколько вам лет, если не секрет? – спросил больной.

– Сорок два. А что?

– Что ж вы, такой видный мужчина и не женаты? За вами девки гурьбой ходить должны.

– Не родилась, наверное, та, – усмехнулся Андрей Павлович, смущенно поправив очки. – А вы сколько лет женаты?

– Да, так… – неопределенно ответил больной и отвернулся к окну, давая понять, что не намерен продолжать разговор.

– Ну, ну… не буду мешать, – сказал Андрей Павлович и подошел к другой койке.

– Не женаты они, не женаты, – плюнул старичок.

– Прекратите, – одернул его Андрей Павлович.

– А что они врут всем? – взъерепенился тот. – Им бы в морг, а они чужое место занимают.

– Как вам не совестно, – устыдил его Андрей Павлович.

– Мне совестно? Мне? Это тем должно быть совестно, кто за стенкой телики по ночам смотрят, спать мешают. Что это у вас там за нуменклатура в одноместной палате завелась?

– Извините, но у вас за стеной нет никакого телевизора. Там вообще кухня, – ответил Андрей Павлович.

– Значит, тарелки бьют, – не сдавался старичок. – Бум-бум, бум-бум.

– Показалось вам. И с чего вы взяли, что у нас номенклатура в больнице обитает?

– Рассказывайте мне…

…И все полетело кувырком. Как же ее звали? Одна из многих. Лишняя. Чужая. Забытая. Нэ-нэ-нэ. Наташа? Нюра? Нет. Как же давно это было. Точно, на третьем курсе, когда он вылетел из университета. С треском. Со стыдом. Кажется, он завалил не то политэкономию, не то… Впрочем, неважно. Завалил, а она осталась там – со своими учебниками, со своим абортом, со своими слезами. Была весна или осень? Ларго или адажио мольто? Сколько же лет прошло с того дня? Да, именно тогда в первый раз и кольнуло, не выдержала какая-то струна. Натянулась и – хлоп! – выстрелом: «Плевал я…» А сейчас жалко, Боже, как жалко – одна из многих… но лучшая. И все. Больше никого не встретил, никому не дал жизни, ничего не сделал, не закончил, не смог. Будто те слова решили за него все будущее. Окончательно

и бесповоротно. Кто она сейчас? Где? С кем? Как же ее звали? И кем стал я? Сторож. Ничтожество. Бомж.

– Подымайся, клапанщик, к тебе пришли. – Старик кинул в него корку хлеба и, борясь со вставной челюстью, жутко загоготал. Корка ударилась о серое алюминиевое лицо и, отскочив, упала в стакан. – С пятым временем года тебя!

Как же ее звали? Он повернулся и увидел перед собой старуху в черном драповом пальто, в валенках, в смешных разбитых калошах, в шерстяном платке, с выпуклыми надбровными дугами и запавшими глазами.

– Я пришла, – сказала она. – Не узнаешь?

– Нина, Нинель, Нинок!!!.. Тоня, Тоняша, Тоха!!! – он оторвал голову от подушки, облокотился на руку и, обессилев, рухнул. – Как я ждал тебя! Как ты изменилась! Но все равно, все равно… Я тебя люб…

– Это уже неважно, – прошептала старуха, приложив палец к губам.

– Эй, эй! – крикнул дедок, вглядываясь в отстраненное, ставшее незнакомым лицо сопалатника.

– Весна! Оттепель! Неужели вы не видите! – воскликнул он, подымаясь с волглой кровати и чувствуя, как все тело наполняется светом и легкостью.

– Зима… – произнесла старуха таким тоном, что кровь вскипанула в жилах. – Аллегро нон мольто. Пошли, и не шуми так. Живых разбудишь.

– Эй, куда ты направился, болезный? – рявкнул старик. – Если на кухню, захвати кисель.

– Ларго, аллегро, – отозвался Николай Владимирович, взмывая к потолку цвета прокисшего молока. – Ларго, аллегро…

Глиняная пустота

Пустота появилась раньше меня. Я в нее пришел, как, собственно, и не только я. Но, несмотря на то, что объем моего физического тела позволял вместить в себя все, начиная от простой воды и сока и кончая сивухой и изысканным вином, я оставался пустым…

Жизнь переставляла меня с места на место, я покрывался трещинами, меня неоднократно разбивали, а затем склеивали. Но всякий раз я ощущал в глубине возрожденного тела новую пустоту.

Временами мне даже казалось, что и пустота, находящаяся во мне, меняет естество – становится старше, морщинистей, болезненней. Но это было моим очередным заблуждением. Не я наполнял ее, а она – меня. Ибо я вышел из нее. Стало быть, она, пустота, оставалась все той же – никакой, страшной и безысходной даже тогда, когда я объял ее своей формой, когда вынырнул из-под рук неведомого мастера и был продан миру за сущие гроши, чтобы, будучи наполненным чем-то новым, снова стать пустым.

Мое предназначение, наверное, и определялось тем прискорбным фактом, что я вбирал в себя совершенно ненужные мне разности. Цветы в моей жизни сменялись сивухой, она – родниковой водой, неизбежно протухающей; затем снова были цветы, расставания с ними и вновь – сивуха.

Кончилось тем, что я даже забыл, что когда-то, давным-давно, еще до того момента, когда мой правый бок покрылся первыми шрамами-швами, я наполнялся молоком – парным, с голубоватеньким переливом. Больше молока в моей жизни не было. Долгое время я оставался просто пустым, ненужным, брошенным на произвол судьбы. Стоял у окна и ничего за ним не видел. И вдруг мне показалось, что пустота, находящаяся в глубине, выплеснулась и затопила собой весь мир. Молочная зима, бражная весна, духмяное лето, осыпающаяся осень в один миг выволнились наружу, преобразившись в жуткую абстрактную картину, в которой на самом деле ничего нет. Мне же хотелось увидеть лазурную дымку, вдохнуть запахи утра – я всматривался, внюхивался и не видел, не обонял.

Везде было пусто. И за окном, и внутри меня.

Но времена менялись. Снова в моей жизни появлялись цветы, чудные воспоминания, острый запах сирени и жесткость неизвестного мне цветка с красным листом и одиноко торчащей из него, словно из согнутой окровавленной ладони, желтой тлеющей свечой. После появления букетов приходили деньги. Они-то и привлекали к себе события – свадьбы и поминки, дни рождения и именины. Но все чаще и чаще названия событий исчезали, и возникало утреннее удушье… Не было ни цветов, ни банкнот, ни даже, что самое мучительное, сивухи. Исчезало желание быть наполненным чем-то новым.

А вечность одаривала неотвратимыми ударами. Все тяжелее было ощущать очередные морщины, сложнее было смиряться с тем, что пустота начинает поглощать изнутри. Мне уже не нужны были цветы, потому что я знал: за ними увядание и запах тлена, не нужны были свадьбы – после них меня частенько разбивали и, как правило, неаккуратно склеивали, и смешно было ощущать запах роз на поминках – роз, которые никому не нужны…

Капля за каплей я наполнялся пустотой, и даже когда в редкие жизненные всплески мне выпадало ощутить в себе что-то необычное, было ясно – это до завтра. А завтра я уже не вспомню о вчера, которое сегодня мне кажется таким настоящим и оформленным, что его можно попробовать на ощупь.

Но приходил новый день, оставляющий лишь воспоминания и ничего не дающий взамен. Быть может, одно – новое качество пустоты, которое вот-вот оформится в сумрачное осознание, что ты никому не нужен, потому как на смену тебе, на подоконник, пришел новенький, подаренный вчера, по случаю какого-то там юбилея, безвкусный глиняный кувшин-корчага,

а ты, полагавший, что твой объем вечен, наконец-то заполняешь собой чужую пустоту, пустоту мусорного ведра, мнящего себя вазой.

Ладони

Моему деду
Л. С. Кобрину

Мне к сорока, а мысли мои к десяти. Но помню тебя, как минуту назад. Ты слегка толстый, неповоротливый, слегка. Всё слегка. Но налегке. Ибо душа – облаком. Память меня притупляет, но не отупляет. Родной и смешливый. Я – глупый и беспечный. Мы идём за руки. Твоя ладонь – пухлая, в глубоких прожилках, там долгая жизнь и глубокое сердце, в моей – что-то так, только плещется. Но нам хорошо и уютно. Мы умеем жить, ссориться, кричать друг на друга. Орать. Любить. Дышать одним воздухом. Дедовым, внуковым. Шиповниковым. Дедушка, ты помнишь запах шиповника? Эти ягодки, эти странные плодики. Мы их вместе срывали. Ты большими руками, я – мелкими. Там, где скоро вдруг март, где будут только: ты – дед и я – внук. Но я не за гробом, я – недопущенный. Нельзя смотреть. Нельзя. Надо жить.

У меня проблемы к сорока, у тебя их уже нет. И то хорошо. Ты не увидел грязи, обмана, предательства. Ты там, где тепло, и, наверное, классно, но вот что хочу тебе рассказать, тут, деда, тоже неплохо, ты не переживай за нас, всё нормально, всё чин-чинарем, тут все уж понарожали правнуков-праправнуков. Ну, в общем, с ладонями нормально. Линии жизни, судьбы, ума. Но не пухлые, дед, не пухлые. Думаешь, нарастят? Обязательно, дед. Обязательно. Только вот скоро март. И тебя поминать. С горячими пальцами. Уж сколько лет прошло. В перчатках.

Чтобы руки не отморозить.

Тараканий бег

В гениальности всегда проблемы. Это расплющенность и разломленность души. Это ломка, истерика, боль, ненависть, любовь. Всё вместе. Гениальные живут по другому закону. По своему. По неписаному. Они вне закона. Они дышат – любят, ненавидят. Все это перелопачивается, видоизменяется, переламывается. Всё в одно корыто. Миску, тарелочку, блюдце.

Гений всегда живёт на каёмке этого блюдца. Понимания у него ноль. Он, как таракан, пробегает по фарфору и, кажется, поднагадил, так и есть. Пробежал – и в мусор. А дальше в мусоропровод. Это его жизнь. Пробежать – не остаться. Всем плюнуть в душу и всех в то же время любить.

И вдруг бабочкой, капустницей, пых, и чтоб прожилками. Из салата с салатными крыльями. Любовью. Такой лёгкий полет, так, чтобы сачком кто-то ухайдохал. И на булавки. Но он трепыхается. Он не дает. Потому что таракан должен, обязан бежать. Перебирая лапами. Топорща усы. Высверливая глазами щели. Смотреть, смотреть. Там, бабочка, она потом. Распялят, распальцуют, разухарят по самые крылья. А сейчас бежать. Тараканом. Вёртким, живым. Не дай Бог, не капустницей. Не дай, Бог, в её тупом полёте и рывках за листьями. По щелям, по щелям. Только так. И одышливо, спокойно, подобрать лапы – где крысы с хвостами. Где трубы текут, и солнца никто не видел. Так, по-спокойному. В глаза – красненькие такие – одышливо сытые и голодные. С топорщимися хребетками и порослью за ушами. Глаза в глаза. Смотри крысе в глаза. Смотри крысе в глаза… И дальше – пробег. Тепло. Трубы. Они греют. За ними люди. Они целуются. Спариваются. А ты бежишь по трубам, по мякоти этой наросшей, по изнанке душ. Зеленоватой плесени. За стеной, в ночи. Под кроватями, где были и другие… И так тебе погано-сыто. Сыто и погано. Но бег. За душой капустница. И не дать ей, не дать взлететь. Всеми своими лапами, усами, панцирем. Не дать, дуре, с её раскрыльями чепуховыми, не дать! К крысам, по-спокойному, так, в глаза.

Но Мосдез пришёл. Глаза тухнут, усы виснут. Мосдез…

И вдруг вспархивает бабочка. Но не капустница. Нет.

Мягкокрылый махаон.

Мороз без солнца

Выплеснуть, обескуражить, возопить. Ты в ночи. Отдать. По капле, по микрону, по волокну души. Дарить людям. Чтобы читали, видели, понимали. Тебя нет, внутри пустота, но есть слово, оно искрится, выигрывается в атмосфере, в чудесном дне, который не настал, в луче невзошедшего солнца, не в хрустком еще морозе. Дарить то, чего нет. Бежать по листу. Искать мороз, солнце, день.

Но там лишь ночь. Враждебная, одинокая, укуренная. И нет ни снега, ни ледяного солнца. Есть ты. И бесы. И клеёнчатая скатерть. Сигарета. Пепел. Обрывок мысли. И лишь заполошная скорбь о морозе. Злополучная…

И вдруг капель. И потекло. И кровью исхаркиваются строки. И вешают Есенина, и Маяковский с курком. А внутри зашевелились анчутки. Захохотали, задёргали хвостами, бодро зашлёпали в ладоши. И пора строчить о морозе. И плевать на ворованные рифмы. Ведь где-то есть и ты. Найти себя. Что-то важное, цельное. В строках, строфах, в огне, в боли. В волшебном сне, что снится в спальне. Но не тебе. Бежать, нестись. К Богу, к любви, к всполоху крови…

Но – сигарета, затяжка. Дым – завился вверх, сорвал ритм. Сбил мысль. Она слетела в скорбь. Исчудила, измотала, измыслила. Растревожила бесов…

И снова быстрая затяжка, привычная искра. Курок натянут. «Мороз и солнце; день чудесный! Ещё ты…» Вот же оно, вот, наконец-то! Забрезжило солнце, на стекле – узор, выпал снег! Стоп. Ведь было это. Уже не дремлешь.

«На мутном небе мгла носилась… А нынче… погляди в окно…»

Анчуткам тесно. В петле провис ты. Мороз без солнца.

Фуршет

Столица переваривала утро. Стрелки часов показывали прямой угол – было без пятнадцати двенадцать.

В облике приглашенных на церемонию открытия нового магазина ощущалась некая синтетичность и манекеноподобность. В неестественных снобистских позах «дамы и господа», застыв около золотых клеток с райскими птицами, грели в широких бокалах коньяк, потягивали яичный ликер, поддевали миниатюрными рапирами бутерброды-«микробы», давя в пальцах бисквиты, говорили о тенденциях в моде и последнем выпуске журнала «Базар» с двусмысленно характеризовавшим общество названием, обсуждали наряды и восхищались богатством и убранством неимоверно дорогого стеклянного шопа «Аква», напоминавшего по контурам и прозрачности декоративный аквариум с экзотическими рыбками. И конечно, сплетничали, язвили и злобствовали. В то же время с улицы собравшиеся напоминали бессловесных пресноводных, открывающих немые рты, бесшумно передвигающихся по периметру магазина и безучастно наблюдающих за течением жизни с той стороны толстых стекол. От бескровной продукции «тамагочи» с ирреальными неживыми формами и бессмысленными глазами, в которых душа подпитывается батарейкой, их отличало лишь то, что аккумулятор их жизни был заряжен на долгие годы.

– А вы не находите, милейшая, что разношерстность приглашенных принижает наше с вами… как бы это выразиться… достоинство? – нервно взмахнув веером, грациозная особь указала на кучку журналистов в мятых пиджаках из секонд-хенда, облепивших, точно мухи, даму высшего света в дорогом манто из шиншиллы, накинутом на декольтированное платье из муслина. – С нашими заслугами перед обществом, с нашей статью, кровями, былым почетом и такое безобразие. Откуда, спрашивается, столько плебса на фуршете? А одеты-то, одеты. Стыдоба.

– Несомненно, – согласилась с ней собеседница, в негодовании дернув вуалью. – То ли дело вот, пожалуйста…

Она одобрительно кивнула в сторону одиноко стоящей в отдалении кинодивы с худосочной дрожащей левреткой, жалобно поскуливающей в ногах. Собачка была в замшевом жилете, украшенном изумрудными бусинами, и туфельках на босу лапу. Раба Мельпомены – в белой, окаймленной песцом, норковой накидке. Узкое прямое сиреневое платье из тончайшего тюля с нижней юбкой из жоржета облегало точеную белесую фигурку. На ногах у представительницы высшего света были бархатные туфли с перьями. В руке дымилась пахитоска со странным сладковато-приторным запахом. Зрачки изваяния были расширены, а радужная оболочка глаз богемно отливала каким-то тусклым запредельным светом. Лицо – опустошено и стандартно. Лишь редкие движения правой руки, подносящей тонкую папироску к губам, и двойное, с присасыванием, втягивание дыма делали ее живой и отличали от эталона мертвой игрушечной красоты – дорогой, но бездушной «барби».

Указующая на кинодиву перевела взгляд на жадно поглощающего бутерброды с икрой писателя в нечищеной обуви и вязаном свитере в затяжках. Брезгливо вздрогнула и отвернулась, с обожанием воззрилась на матовую бесподобную брюнетку с идеально наложенным макияжем. При свете ламп колье из платины с бриллиантами на тонкой смуглой шее девушки и перстень с солитером в девять карат на холеном безымянном пальце левой руки сверкали яркими многоваттовыми софитами. Руки ловца муз были заскорузлыми и неухоженными, с толстыми пальцами и трещинками на ногтях. Заусеницы окаймляли желтые никотиновые ногти. От третьего за неделю фуршета под глазами набрякли свинцовые тучки. Девушка медленно пила шампанское из бокала на тонкой «шпильке». Хрупкое запястье обвивали часы с браслетом-змейкой белого золота. Корпус часов был украшен сапфировыми кабошонами.

Под стеклом из горного хрусталя плавали крупинки бриллиантов. Вместо часов у щелкопера в кармане пиджака лежала квитанция из ломбарда. Писатель с животным голодным зевом вливал в себя очередную порцию водки из мутного «наперстка». Сердце билось *курантами*, взгляд был *абсолютно* туманным и по-писательски лиричным – илот пера пожирал взглядом дородную ополовиненную бутыль *«Абсолют Курант»*. Но ситуация заставляла изредка отрываться от вожделенной бутылки, и тогда он с профессиональным интересом и в то же время с какой-то детской непосредственностью рассматривал собравшихся. Взгляд его то и дело беспокойным кузнечиком перепрыгивал со скелетов манекенщиц на балериньи ломкие щиколотки, затем цеплялся за монументальные формы, выпадавшие из разноцветных меховых пелерин – шкурок освежеванных чернобурки и мангуста, – после перескакивал на коленные «плошки», выпиравшие из юбок-миди, натянутые на целлюлитные бедра, и, наконец, сползал на бараньи ноги, вбитые в украшенные стразами атласные туфли.

Он искренне не понимал этих людей, облаченных во все богемное, но неживое, в какие-то хитрые химические материалы: юбки из вискозы, платья из органзы, блузки из трикотажа с полиамидом, платья из кружева с люрексом.

Крашенный мех ламы, сумочки из кожи игуаны, кружева из искусственно выращенных бриллиантов и жемчуга, вымытые шампунем с антиперхотином волосы, зубы, вычищенные пастой пролонгированного действия, с завалявшимся в кариесной трещине остатком мятного «дирола», натуральный пародонтоз, уступивший место фарфору, а также баночное пиво вперемешку с водкой рождали в голове борзописца жутковатые картины из жизни сломавшихся, потрескивающих в тишине киборгов, говорящих на непонятном «целлофановом» языке; чудовищ в смешанно-сезонных хламидах, по которым невозможно было определить время года, стоявшее на улице.

Но он старательно гнал от себя нехорошие мысли и возвращался к водке с красителями. Человек он был открытый и незлобивый, произведения писал исключительно о красоте душевной, любви и преданности. Правда, зачастую качество написанного восполнялось количеством. Посему произведения его лузгались, как семечки, а после их прочтения у читателя оставалось скверное ощущение от пафосной шелухи. С другой стороны в его творчестве не было места таким монстрам как триклозан, органикс и макс-фактор. Им он предпочитал чесночную дольку, яичный желток и разрезанный надвое бурачок. Иными словами он не эстетствовал, он – творил. Даже несмотря на то, что терялся в массе подобных ему сочинителей, стилизующих свои опусы и вирши друг под друга, отчего складывалось впечатление, что пишет один человек под разными псевдонимами.

– Сколько нам тут еще вращаться? – обронила обладательница вуали.

– Как вы изволили выразиться? – переспросила визави и повела оранжево-красным веером с прозрачным кантом из стороны в сторону. – Вращаться? Вращаются, милочка, в свете, а это, простите меня, зверинец какой-то, да и только. И как у них только наглости хватает столь жалкое сборище фуршетом именовать? Да в былые годы постеснялись бы мусор выносить в таких нарядах. А угощения? Вы, простите, что успели попробовать?

– Да я, знаете ли, на диете, салатик только и все. Фигура… Боюсь в весе прибавить.

– Правильно! И я о том же, – бросив критический взгляд на короткое, яйцеобразное, тело последней, согласилась подруга. – Перво-наперво, материальное отображение. Форма тела должна быть на высоте. Чтоб было в чем, как говорится, сущность духа держать. Встречают-то по одежке, а духовность ее всегда приобрести можно, был бы банковский счет да знакомые в Синоде. Ведь тело в ситце, как известно, не каждому дано на фигуру в парче обменять, для этого многое требуется – одним желанием не обойдешься, тут главное связи, способности к накопительству да постельный опыт. Вы со мной согласны, душечка? Что, спрашивается, толку в том, что некоторые из приглашенных многократные лауреаты инфляционных премий, добродетельны до дыр в платье да умны до мигрени? Они ли миром правят? Что они без нас?

Так – плебс на фуршете, не боле. Другое дело – мы. Знатность, признание, красота. Вот, чем торговать следует, на одной хорошо вычитанной и плохо понятой мысли далеко не уедешь. Планктоном, как говорится, сыт не будешь – жизнь она всеядность любит.

– Бесспорно, – поддержала ее товарка. – Собственно, без нас и не было бы тут ничего. Так ведь?

– А как же… Нет, вы посмотрите, на это беспардонство! Он же все мероприятие испортит.

Хамло!

Писатель пошатнулся и выронил бутерброд в аквариум. Пьяно мурлыкнув: «Пардоньте», принялся мыть руки, цепляя манжетами разросшуюся сагиттарию.

– Куда обслуга делась, он же в стельку!

– Вы полагаете, это кого-то волнует? – удивилась собеседница и нервно задергала веером. – Душно тут. Аэрация подводит.

– Но антураж!

– Бросьте, в самом деле. Кому какое дело. Вы же видите, что только нас с вами это и касается. Что до других, так их тактика-стратегия во все времена едина – спасение утопающих дело плавников самих утопающих.

– Но престиж заведения!

– Молоды вы… Престиж не поведением зарабатывается, а деньгами. Ничего, потерпим. Потеснитесь. Тут полегче… Кстати, вы ту пару видите?

– Он в двубортном, она в манто из собольего меха?

– Да нет, не эти. Вон за той парой абстинентов у выхода. Видите – он в смокинге, она в китайском платье из шелкового жаккарда со шнуром.

– С накидкой-болеро?

– Да, из голубой норки.

– Так ведь это…

– Именно. Хозяин с пассией.

– Потрясающая. И давно он с ней?

– После кодации.

– Что вы говорите? И он?

– А что тут особенного, золотко? Сегодня с граненником нехрустальным все дружбу водят. Ну, или почти все. Многогранными все стали… Как стакан… Так вот, я вам по большому секрету, скажу – она до этого с тем двубортом постелилась.

– Да что вы говорите? Постойте, он, кажется, банкир?

– Банкрот. Слишком щедрый был. Вот и прогорел. По привычке пригласили.

– Злоупотреблял?

– Чего не знаю, того не знаю – врать не буду. А вот, что вегетарианством озоровал – факт. Результат налицо. Клетчатки мозгу не хватило, теперь в бесприданниках. И признаться, я их всех не очень понимаю. Толку-то от их философско-вегетарианских изысков? Вас еще понять можно – фигура, грациозность, – кинув взгляд на тучную подругу, на мгновение запнулась, дав собеседнице переварить неаппетитную, как круто сваренная каша, лесть, развернула веер и продолжила: – Меня тоже – возраст. А они? Голодом себя бездумно морят, фруктами травятся, а в итоге желудочные болезни да идиосинкразия. Кому нужна такая добродетель? Знаете, если каждый биологический субъект воспринимать, как товар, то многих из них, пожалуй, в утиль сдавать можно. А как вам нравится их жизнебездеятельность? Каково? Сплошные разговоры, гиббоньи ужимки, канареечное чириканье. Слышите гам какой? Хвастаются. Сплетничают. Кости перемывают. Мутанты от социума. Да-а… Прошло время истинной красоты, настоящих целей, поступков, так сказать. На всю их свору – один приличный меценат, да и тот с чипом в голове. Поговорить не с кем. Начитанные все стали. А смысл? Знаете, филосо-

фией желудок не набьешь. Сюрреалистическое платье, как говорится, на классическую форму не натянешь. И кто только этот фуршет затеял? Я тут одно блюдо из рачков попробовала. Ну, доложу вам, тот еще деликатес! С трудом отперхалась… А все от выпендрежу! Готовить не умеют, одеваются безвкусно, а туда же – в мир презентаций и церемоний. Но как холоп фуршет на должном уровне подготовить может, если он всю жизнь из лохани трапезничал? Беда с ними, честное слово. Вы еще салатик будете?

– Не откажусь.

– А бескультурье-то, бескультурье! – не унималась та, что была с веером. – Полюбуйтесь, как они на икру напирают! Изголодались по деликатесам, понимаешь. Икру поглощают, а за внешностью не следят. Нет, вы только гляньте, какими они на фуршет явились! Разве ж сейчас такие цвета в моде? Безвкусица! А ткань?! Кто ж сегодня ситец в рюхах носит? Неужто сложно усвоить, что он в прошлом сезоне из моды вышел. Атлас, креп, муслин – да. Но ситец – позвольте. Это – нелепо. Или вот красная горжетка из лисьего меха – тоже приемлемо. А вот шарф из белой лисы – это же немыслимо! И признаться, я бы поостереглась на месте той особы диадему надевать. Если не ошибаюсь, еще в прошлом месяце ювелирные сделали ставку на колье и браслеты. И право, сумочка из замши больше идет к вечернему наряду для партера. А к фуршету пошла бы кожа из аллигатора, например.

– Идут, кажется, – перебила ее обладательница вуали.

– Дождались.

Писатель лирично икнул и наполовину опустился в аквариум. Двое охранников взяли его под руки и понесли к выходу. Изо рта у него грустно выглядывал пучеглазый телескоп и вяло шевелил перекушенным плавником.

Около аквариума остался человек в голубом комбинезоне с закатанными по локоть рукавами. На спине красовалась волнистая надпись: «Аква». Под мышкой мужчина придерживал складной столик, в той же руке держал трехлитровую банку со свежей водой, в другой – дерматиновый чемоданчик.

– Какая мерзость – кожзаменитель, – обратилась одна к другой. – Я полагаю, он и джинсы однострочные носит…

Тем временем служащий, извинившись перед присутствующими и потеснив нескольких дам в сторону, разложил складной столик, поставил на него банку и раскрыл чемоданчик, в недрах которого таились приспособления аквариумиста: скребок для очистки стекол от водорослей, сифон, грязечерпалка, воронка, плавающие кормушки, обогреватель, термометр, гибкий резиновый шланг для слива воды и прочие стеклянно-пластмассовые принадлежности, назначение которых понять было крайне сложно. Человек вытащил сачок и принялся вылавливать из каркасного аквариума золотых рыбок, опуская затем в банку.

– Сдохнут, опомниться не успеем, – зло процедил «аква»носец, вытащив из кармашка комбинезона махровую ткань, осторожно снял грязь с поверхности воды и протер стекла. Затем сифоном удалил экскременты рыб и остатки корма. Решив сменить воду после фуршета, выключил лампы и убрал сифон в чемоданчик. Воровато ухватил бутерброд с розовым в прожилках лососем. И только тут заметил, что около фильтров под зеленым листом кувшинки затаились две золотые рыбки. Человек негромко выругался, вновь достал сачок из чемоданчика и ловким движением поддел обеих.

За его движениями неотрывно наблюдали несколько пар любопытных глаз: повизгивающая мартышка из вивария, *сцинковый* геккон с бессмысленным *«цинковым»* взглядом и ленивый гребенчатый тритон из своих террариумов, а также шебутные нимфа корелла и какаду инка из клеток.

Остальные обитатели магазина были заняты – жрали и пили.

– Господа! – произнес некто в смокинге. – Я хочу произнести тост и поднять этот бокал за новый зоомагазин «Аква»!..

Хлопнула очередная бутыль с шампанским, и пьяный до ризы священник вяло осенил крестным знамением окаменевшую черепаху в шашечку, полудохлую квакшу с пронзительно-глупым взглядом и гиббона, энергично пожиравшего банан.

Человек подхватил банку с рыбками и направился в подсобку.

– Вы находите это оригинальным, что нас, виновниц торжества, не благословленных самим, как бы это сказать, патриархом, уносят в помещения подсобного назначения? – булькнув корявой фразой, веерохвост повернулась к вуалехвосту.

– Это беспредел! Мы императорских кровей! А обращаются, как с окунями! И Телю загубили, так и не дождался нереста! – вуалехвост обиженно сверкнула глазками, ища поддержи у подруги. О том, что их предком был всего-навсего карась, она отчего-то забыла.

– Что наша жизнь?.. – лишь философски проронила подруга, задумчиво добавив: – Икра…

Тем временем гиббон ловко швырнул банановую кожуру к выходу, где кустистая шевелюра писателя пыталась побрататься с бритым черепом охранника. Строчун суетился и, по-видимому, уходить не собирался. Мыслям в его голове было скользко, а на душе – ябедно. Он декламировал стихи и с траурным видом вертел в руке плавник телескопа. Представитель секьюрити поэзию не жаловал, но из приличия нежно светил фиксой. Говорун обиженно дочитал третью по счету поэму, охранник глубокомысленно кивнул, сделал шаг в сторону, наступил на банановую кожуру, взмахнул руками и что есть силы врезался затылком в ступеньку. Перед глазами залетали райские птицы, и он богемно закатил глубокопосаженные и агрессивные, как у голодного примата, очи. Какаду удивленно задрал хохолок, дернув крыльями, гортанно рявкнул: «Фильтруй воду», а писатель, расценив птичий вопль, как призыв к действию, тотчас, с абсолютным попаданием, изверг бижутерию из икры на низколобое лицо охранника.

В неэстетичном шлепке угадывалось знакомое шуршащее слово «Фур-шет». Словно бы кто-то нагло заискрил фольгой, а затем, роняя шоколадные крошки на манто, принялся громко чавкать.

Тапочки за рубли

Столешников переулок – один из самых…

…в Москве.

Здесь бутики и обувь от тыщи. На заказ. Не рублей. Говорят, итальянец! приезжает обмеривать «ножку». Сорок четвертого размера. Магазин – мужской…

Мужик в зеленой робе и шлангом в руках здоровается со мной каждое утро. И не только со мной – со всеми. Он – всего лишь уборщик. Но провожает взглядом. Не только меня. Лицо улыбчивое, тело пухлое, рука крепкая. Полагаю, под робой, как минимум, майорские погоны одной из организаций, в названиях которых я давным-давно запутался.

Но не суть – здесь Гиляровский жил…

И здесь есть кабак «Гоголь». Официантки – ох-ох! Бывают же формы. Периодически ловлю себя на мысли, что хожу не на бизнес-ланч, а словно в картинную галерею… На «Обнаженных Мах» глядеть. Только одетых и с подносами. Есть-есть, чем полюбоваться на Столешниковом.

Тротуар вперемешку с булыжником, что странно – не эклектично. Миловидки с пакетами, выходящие из магазинов… на шпильках, застревающими в проемах булыжников, – боюсь даже произнести названия фирм, запечатленные на них, на пакетах. Здесь имена.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.